лингв франка включается механизм замены понятия сходным по значению, приближенным, но не в полной мере отражающим структуру и содержание понятия, однако в структуре предложена выполняющего точную грамматико-синтаксическую функцию.

Второй источник формирования лексического контента лингва франка – синонимизация. Синонимизация как способ организации, познания мира выступает в качестве стратегически необходимого, прагматически значимого условия реализации говорения для иностранного гражданина. Сходные по смыслу слова сближаются на основе многих условий. Процесс синонимизации, сближения проходит под влиянием субъективных переживаний и внешней социокультурной ситуации.

Итак, следует сказать, что параметры реализации навыков говорения при проведении процедуры ТРКИ связаны со спецификой прагматической актуализации феномена лингва франка, что позволяет говорить о параметрах и особом содержании общедно-бытовой дискурсивной практики.

1. Hyland, K. English for academic purposes: An advanced resource book. Oxon: Routledge Applied Linguistics, 2006.
2. Клобукова, Л.П. Актуальные проблемы совершенствования и развития современной государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному // Динамика языковых и культурных процессов в современной России: Общество преподавателей русского языка и литературы. – СПб, 2016, с. 1829-1834
3. Мележик, К.А. От глобального английского языка к национальному варианту английского лингва франка – проблемы коммуникативно-прагматической вариативности: Автореф. дис. д.филол.н. – Н.Новгород, 2018
4. Назарова, А.В. Особенности иноязычной монологической речи и система ее оценивания // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия №1. Психологические и педагогические науки. - №2-2, 2016, с. 149-157
5. Штехман Е.А., Мельник Ю.А. Обучение говорению на занятиях по русскому языку как иностранному с использованием ситуационных задач // Коммуникативные исследования. - № 4 (10), 2016, с. 148-154.

Карачун Е. А.

«Мысль семейная» в романе «Анна Каренина»

*Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
(Россия, Калуга)*

doi: 10.18411/sr-10-06-2019-84

idsp: sciencerrussia-10-06-2019-84

Аннотация

При анализе поступков героев произведения Л. Н. Толстого «Анна Каренина» перед читателями возникает необходимость учитывать большое количество факторов, влияющих на героев, которые часто упускаются. Одной из важных характеристик героя произведения, влияющая на его мировосприятие и поступки, является его принадлежность к определённой семье. В статье предпринимается попытка очертить круг проблем, возникающий при анализе героев произведения с этой позиции.

Ключевые слова: мысль семейная, портрет героя художественного произведения, Анна Каренина

«Анна Каренина», созданная Л. Н. Толстым десятью годами позже «Войны и мира», существенно отличается от романа-эпопеи «вседневностью содержания». На первый план выходит личная история героев, а масштабные исторические, общественно важные события (например, сербско-турецкая война, куда отправляется добровольцем Вронский) являются лишь её частью, а не наоборот. История каждого героя рас-

смачивается с разных сторон, с позиций других героев, отношения самих героев к происходящему в их жизни. Например, история Анны и Вронского рассматривается и с позиции их собственных чувств, эмоций и мыслей, и с позиции общества в широком смысле, и с точки зрения их родственников, друзей и знакомых. Отношение к Стиве Облонскому и его поступкам подаётся не от одного лица, но от его родных, друзей и т. п.

Если рассматривать каждого героя, внимательно собирая информацию о нём из всего текста произведения, можно получить очень полный, подробный и логичный «психологический портрет», и при анализе поступков героя быть более объективным, учесть больше необходимых для этого факторов, которые часто упускаются ввиду сложности взаимосвязей между героями произведения и объёме анализируемого текста.

«Анна Каренина» начинается с описания разлада в доме Облонских. Читатель ещё не знает, кто такие Облонские, в какой исторической обстановке происходят события и как они влияют на других, пока неизвестных героев. Читатель знакомится с героями постепенно, и зачастую часть информации, объясняющая поступки героев теряется – поэтому так много пищи для размышлений даёт второе и последующие прочтения. Взаимоотношения между людьми – чрезвычайно сложная область для анализа, на них влияют и их социальное положение, и история взаимоотношений до начала описываемых событий, и репутация, а также многое другое, поэтому знакомиться с героями в середине их истории довольно трудно.

Известны слова Л. Н. Толстого: *«В "Анне Карениной" я люблю мысль семейную...»*. Если попытаться собрать воедино описания, замечания, сцены, которые дают представление о семьях, о которых идёт речь в романе, и их представителях, имеющих сюжетное значение, можно взглянуть на героев и их поступки с новой стороны – с точки зрения представления их частью составляющей общества – семьи. Литературовед Э. Г. Бабаев указывал, что *«мысль семейная»* в романе *«приобретала особенную остроту, становилась тревожным фактором времени, потому что разлад выходил за пределы семейного круга и захватывал важные области общественного быта»*. [2, с.15]

Можно заглянуть внутрь «пределов семейного круга». Одной из важных характеристик каждого героя произведения является его принадлежность к определённой семье. Во времена Льва Толстого люди хорошо знали свои корни и придавали этому большое значение. Но происхождение даёт не только статус, материальные блага или долги. История семьи – это часть истории её наследника. То, какими людьми окажутся родители, родственники ребёнка, повлияет на его мировосприятие, самовосприятие, понимание хорошего и дурного, правильного и неправильного, а значит, на всю последующую жизнь. Это хорошо заметно в романе, где можно найти описание дальних и ближних родственников главных героев, отношения между ними и влияние друг на друга. Л. Н. Толстой создал сложную «сеть» родственных связей между героями, и лишь разобравшись в ней можно правильно проанализировать произведение.

Если вспомнить, что общество, так называемый «свет», состоит прежде всего не из людей разного материального и служебного положения, а из людей разных фамилий, то мысли и поступки этих героев могут быть рассмотрены с новой стороны. А чтобы лучше понять их, необходимо «вернуться к истоку», изучить историю семей, отношения разных поколений одной семьи к другой. Так получится наиболее полная картина того мира, в котором жили герои.

Главные герои произведения относятся к пяти семьям: Вронские, Каренины, Облонские, Щербацкие, Левины. Взаимоотношения между разными поколениями одной и той же семьи, их социальное положение, описание героев членами других семей можно представить в виде таблицы цитат из произведения (см. Таблица 1) – это поможет наглядно увидеть, в какой семье вырос герой, как складывался его взгляд на жизнь, как его поведение воспринимают другие герои. События, происходящие с членами различ-

ных семей, взаимоотношения между ними можно отобразить на схеме (см. схема «Фабула»).

Таблица 1

Таблица «Цитатный план»

Семья	Вронские
	<p>Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе.</p> <p>Графиня Вронская</p> <p>Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенного ему, важного для карьеры, положения, только с тем, чтоб оставаться в полку, где он мог видаться с Карениной, узнала, что им недовольны за это высокопоставленные лица, и она переменила свое мнение. Не нравилось ей тоже то, что по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, грациозная светская связь, какую она бы одобрила, но какая-то вертеровская, отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь его в глупости. Она не видала его со времени его неожиданного отъезда из Москвы и через старшего сына требовала, чтоб он приехал к ней.</p> <p>Но бедный сын мой отдался весь ей. Бросил все — карьеру, меня, и тут-то она еще не пожалела его, а нарочно убила его совсем. Нет, как ни говорите, самая смерть ее — смерть гадкой женщины без религии. Прости меня Бог, но я не могу не ненавидеть память ее, глядя на гибель сына</p> <p>Александр Вронский</p> <p>Старший брат был также недоволен меньшим. Он не разбирал, какая это была любовь, большая или маленькая, страстная или не страстная, порочная или не порочная (он сам, имея детей, содержал танцовщицу и потому был снисходителен на это); но он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведения брата.</p> <p>Старший брат Вронского, Александр, полковник с эксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом, подошел к нему. — Ты получил мою записку? — сказал он. — Тебя никогда не найдешь. Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне приворный человек.</p> <p>Нужно было по крайней мере 6000, а было 1800 только на текущие расходы. Для человека со ста тысячами дохода, как определяли все состояние Вронского, такие долги, казалось бы, не могли быть затруднительны; но дело в том, что у него далеко не было этих ста тысяч. Огромное отцовское состояние, приносившее одно до двухсот тысяч годового дохода, было нераздельно между братьями. В то время как старший брат женился, имея кучу долгов, на княжне Варе Чирковой, дочери декабриста, безо всякого состояния, Алексей уступил старшему брату весь доход с имений отца, выговорив себе только двадцать пять тысяч в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно, пока он не женится, чего, вероятно, никогда не будет. И брат, командуя одним из самых дорогих полков и только что женившись, не мог не принять этого подарка. Мать, имевшая свое отдельное состояние, кроме выговоренных двадцати пяти тысяч, давала ежегодно Алексею еще тысяч двадцать, и Алексей проживал их все.</p> <p>Граф Алексей Кириллович Вронский</p> <p>Вронский — это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем — очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.</p> <p>Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», — сказал он.</p> <p>Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежесбритого подбородка до широкого с иголки нового мундира, все было просто и вместе изящно.</p> <p>Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских</p>

военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света.

Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться. Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более — смешное.

Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.

— Что ж мать рассказывала вам? — Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве еще что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды. Словом, герой, — сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции.

Но прежде еще, чем он увидел ее, он увидел ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. «Ах, да! муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но не верил в существование его и поверил в него вполне, только когда увидел его, с его головой, плечами и ногами в черных панталонах; в особенности когда он увидел, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку. Увидев Алексея Александровича с его петербургски-свежим лицом и строго самоуверенною фигурой в круглой шляпе, с немного выдающеюся спиной, он поверил в Него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду.

В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться.

— Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствия я не знаю и не могу вам дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно невозможно?

Левин нахмурился. <...> — Постой, постой, — заговорил он, перебивая Облонского, — ты говоришь: аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем это состоит аристократизм Вронского или кого бы то ни было, — такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого Бог знает с кем не была в связи...

Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолюбию и тщеславию, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд.

Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти несомненно определяли, — что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, — что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, — что обманывать нельзя никого, но мужа можно, — что нельзя прощать оскорблений, и можно оскорблять и

т. д. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову. Только в самое последнее время, по поводу своих отношений к Анне, Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже не находил руководящей нити.

Честолюбие была старинная мечта его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью. Первые шаги его в свете и на службе были удачны, но два года тому назад он сделал грубую ошибку. Он, желая выказать свою независимость и подвинуться, отказался от предложенного ему положения, надеясь, что отказ этот придаст ему большую цену; но оказалось, что он был слишком смел, и его оставили; и, волей-неволей сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя так, как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и желает только того, чтоб его оставили в покое, потому что ему весело. В сущности же, ему еще с прошлого года, когда он уехал в Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который все бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым.

Главная же причина, почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он невольно видел в нем себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. Это был очень глупый, и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего. Он был джентльмен — это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и неискателен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его. «Глупая говядина! Неужели я такой?» — думал он.

Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Независимо от своей воли, он стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель.

Этого нельзя себе представить! Шесть недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя; мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть. Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за нее же

Семья	Каренины
-------	----------

Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта.

Алексей Александрович Каренин, занимавший одно из важнейших мест в министерстве — Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... not in my line, — сказал Вронский. — Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, — заметил Степан Аркадьич, — славный человек. — Ну, и тем лучше для него, — сказал Вронский, улыбаясь.

Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие. Почему должно иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его молодая жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал; но он не испытывал недоверия, потому имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть постыдное чувство и что Нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме его, и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович.

Он впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показала ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие

вредным и опасным фантазерством.

— Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже вредным, — начал Алексей Александрович. — Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства — это дело твоей совести; но я обязан пред тобою, пред собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару.

В его отношениях к ней был оттенок досады, но не более. «Ты не хотела объясниться со мной, — как будто говорил он, мысленно обращаясь к ней, — тем хуже для тебя. Теперь уж ты будешь просить меня, а я не стану объясняться. Тем хуже для тебя», — говорил он мысленно, как человек, который бы тщетно попытался потушить пожар, рассердился бы на свои тщетные усилия и сказал бы: «Так на же тебе! так сгоришь за это!» Он, этот умный и тонкий в служебных делах человек, не понимал всего безумия такого отношения к жене. Он не понимал этого, потому что ему было слишком страшно понять свое настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в котором у него находились его чувства к семье, то есть к жене и сыну. Он, внимательный отец, с конца этой зимы стал особенно холоден к сыну и имел к нему то же подтрунивающее отношение, как и к жене. «А! молодой человек!» — обращался он к нему. Алексей Александрович думал и говорил, что ни в какой год у него не было столько служебного дела, как в нынешний; но он не сознавал того, что он сам выдумывал себе в нынешнем году дела, что это было одно из средств не открывать того ящика, где лежали чувства к жене и семье и мысли о них и которые делались тем страшнее, чем дольше они там лежали. Если бы кто-нибудь имел право спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей жены, то кроткий, смирный Алексей Александрович ничего не ответил бы, а очень бы рассердился на того человека, который у него спросил бы про это. От этого-то и было в выражении лица Алексея Александровича что-то гордое и строгое, когда у него спрашивали про здоровье его жены. Алексей Александрович ничего не хотел думать о поведении и чувствах своей жены, и действительно он об этом ничего не думал.

Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы. Но, оставшись один в карете, Алексей Александрович, к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости и от мучавших его в последнее время сомнений, и страданий ревности. Он испытывал чувство человека, выдернувшего долго болевший зуб, когда после страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря еще своему счастью, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе все внимание, и что он опять может жить, думать и интересоваться не одним своим зубом. Это чувство испытал Алексей Александрович. Боль была странная и страшная, но теперь она прошла; он чувствовал, что может опять жить и думать не об одной жене. «Без чести, без сердца, без религии, испорченная женщина! Это я всегда знал и всегда видел, хотя и старался, жалея ее, обманывать себя», — сказал он себе. И ему действительно казалось, что он всегда это видел; он припоминал подробности их прошедшей жизни, которые прежде не казались ему чем-либо дурным, — теперь эти подробности ясно показывали, что она всегда была испорченною. «Я ошибся, связав свою жизнь с нею; но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчастлив. Виноват не я, — сказал он себе, — но она. Но мне нет дела до нее. Она не существует для меня...»

Решение мое следующее: каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти, как она шла прежде. Это необходимо для меня, для вас, для нашего сына. Я вполне уверен, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, что служит поводом настоящего письма, и что вы будете содействовать мне в том, чтобы вырвать с корнем причину нашего раздора и забыть прошедшее.

Но ошибка, сделанная им, произошла не оттого только, что он не обдумал этой случайности, а оттого тоже, что он до этого дня свидания с умирающей женой не знал своего сердца. Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только утешение своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радости, то, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил. Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном поступке.

Отчаяние его еще усиливалось сознанием, что он был совершенно одинок со своим горем. Не только в Петербурге у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать все, что испытывал, кто бы пожалел его не как высшего чиновника, не как члена общества, но просто как страдающего человека; но и нигде у него не было такого человека. Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили, мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было маленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их. Окончив курсы в гимназии и университете с медалями, Алексей Александрович с помощью дяди тотчас стал на видную служебную дорогу и с той поры исключительно отдался служебному честолюбию. Ни в гимназии, ни в университете, ни после на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем дружеских отношений. Брат был самый близкий ему по душе человек, но он служил по министерству иностранных дел, жил всегда за границей, где он и умер скоро после женитьбы Алексея Александровича. Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Столько же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и не было того решительного повода, который бы заставил его изменить своему правилу: воздерживаться в сомнении; но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен... Та привязанность, которую он испытывал к Анне, исключила в его душе последние потребности сердечных отношений к людям. И теперь изо всех его знакомых у него не было никого близкого. У него много было того, что называется связями; но дружеских отношений не было. Было у Алексея Александровича много таких людей, которых он мог позвать к себе обедать, попросить об участии в интересовавшем его деле, о протекции какому-нибудь искателю, с которыми мог обсуждать откровенно действия других лиц и высшего правительства; но отношения к этим лицам были заключены в одну твердо определенную обычаем и привычкой область, из которой невозможно было выйти. Был один университетский товарищ, с которым он сблизился после и с которым он мог бы поговорить о личном горе; но товарищ этот был попечителем в дальнем учебном округе. Из лиц же, бывших в Петербурге, ближе и возможнее всех были правитель канцелярии и доктор.

Анна Аркадьевна Каренина (ур. Облонская, любимая сестра Степана Аркадьича)

Я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал.

Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических.

Помню и знаю этот голубой туман, вроде того, что на горах в Швейцарии. Этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается путь все уже и уже и весело и жутко входить в эту анфиладу, хотя она и светлая и прекрасная...

В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.

Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх пред новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться, как двоются иногда предметы в усталых глазах. Она не знала иногда, чего она боится, чего желает. Боится ли она и желает ли она того, что было, или того, что будет, и чего именно она желает, она не знала.

Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такою, что мне нужно

любить и жить.

Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви, а навсегда останется преступною женой, под угрозой ежеминутного обличения, обманывающего мужа для позорной связи с человеком чуждым, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети.

— Я начну сначала: ты вышла замуж за человека, который на двадцать лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви или не зная любви. Это была ошибка, положим. — Ужасная ошибка! — сказала Анна.

Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучала ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну с тех пор, как у ней осталась одна эта девочка, что Анна редко вспоминала о сыне.

С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше.

Горе ее было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главною причиною ее несчастья, вопрос о свидании ее с сыном покажется самою неважною вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины ее страдания; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него все, что касалось сына.

Она выпустила его руку и прищурилась. — Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее Бог. — Непременно, да, я передам... — краснея, говорил Левин.

В тоне, во взглядах его, все более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей ее победу, что то чувство упрямства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нем. Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился. И она, вспомнив те слова, которые дали ей победу, именно: «Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя», — поняла, что оружие это опасно и что его нельзя будет употребить другой раз. А она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца.

При взгляде на тендер и на рельсы под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции <...> выражение как бы словами выговаривавшее то страшное слово — о том, что он раскается, — которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить ее такою, какою она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственною, прелестною, любящею, ищущею и дающею счастье, а не жестоко-мстительною, какою она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния.

Сергей Алексеевич Каренин

Прошел год с тех пор, как Сережа видел в последний раз свою мать. С того времени он никогда не слышал более про нее. И в этот же год он был отдан в школу и узнал и полюбил товарищей. Те мечты и воспоминания о матери, которые после свидания с нею сделали его больным, теперь уже не занимали его. Когда они приходили, он старательно отгонял их от себя, считая их стыдными и свойственными только девочкам, а не мальчику и товарищу. Он знал, что между отцом и матерью была ссора, разлучившая их, знал, что ему суждено оставаться с отцом, и старался привыкнуть к этой мысли. Увидать дядю, похожего на мать, ему было неприятно, потому что это вызывало в нем те самые воспоминания, которые он считал стыдными. Это было ему тем более неприятно, что по некоторым словам, которые он слышал, дожидаясь у двери кабинета, и в особенности по выражению лица отца и дяди он догадывался, что между ними должна была идти речь о матери. И чтобы не осуждать того отца, с которым он жил и от которого зависел, и, главное, не предаваться чувствительности, которую он считал столь унижительною, Сережа старался не смотреть на этого дядю, приехавшего нарушать его спокойствие, и не думать про то, что он напоминал.

Степан Аркадьич, с грустью глядя в эти оживленные, материнские глаза, теперь уж не ребячи, не вполне уже невинные. И, хотя он и обещал Алексею Александровичу не говорить про Анну, он не вытерпел. — А ты помнишь мать? — вдруг сказал он. — Нет, не помню, — быстро проговорил Сережа и, багрово покраснев, потупился. И уже дядя ничего более не мог добиться от него. Славянин-гувернер через полчаса нашел своего воспитанника на лестнице и долго не мог понять, злится он или плачет. <...> — Оставьте меня! Помню, не помню... Какое ему дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в покое! — обратился он уже не к гувернеру, а ко всему свету.

Семья	Облонские
-------	-----------

Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских.

Отношения к Степану Аркадьичу после примирения сделались унижительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте.

Князь Степан Аркадьич Облонский

Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого.

Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена — это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так.

Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях: и детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее.

Степан Аркадьич, как и всегда, не празднично проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел: развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости. Москва, несмотря на свои *cafés chantants* и омнибусы, была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьич. Пожив в Москве, особенно в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться

дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы; даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили, именно жили, а не прозябали, как в Москве, и тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня.

— Что вы говорите! — вскрикнул он, когда княгиня сказала ему, что Вронский едет в этом поезде. На мгновение лицо Степана Аркадьича выразило грусть, но через минуту, когда, слегка подрагивая на каждой ноге и расправляя бакенбарды, он вошел в комнату, где был Вронский, Степан Аркадьич уже вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя и старого приятеля.

Дарья Александровна Облонская (ур. Щербацкая, старшая из трёх сестёр)

Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его.

Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием тамап не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужа рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива... — она поправилась, — Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье, и вдруг...

Дарья Александровна в своих задушевных, философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метемпсихозы, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она — и не для того только, чтобы показывать пример, а от всей души — строго исполняла все церковные требования, и то что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее, и, с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны, она решила совершить это теперь летом.

А они нападают на Анну. За что? Что же, разве я лучше? У меня по крайней мере есть муж, которого я люблю. Не так, как бы я хотела любить, но я его люблю, а Анна не любила своего. В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу. Очень может быть, что я и бы сделала то же. И я до сих пор не знаю, хорошо ли сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда она приезжала ко мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше? Я не уважаю его. Он мне нужен, — думала она про мужа, — и я его терплю. Разве это лучше? Я тогда еще могла нравиться, у меня оставалась моя красота»

Оставшись одна, Долли помолилась Богу и легла в постель. Ей всею душой было жалко Анну в то время, как она говорила с ней; но теперь она не могла себя заставить думать о ней. Воспоминания о доме и детях с особенною, новою для нее прелестью, в каком-то новом сиянии возникали в ее воображении. Этот ее мир показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела вне его провести лишний день и решила, что завтра непременно уедет.

Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьича к Долли. Он умолял спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянье, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но кончила тем, что согласилась продать часть своего имения

Семья	Щербацкие
-------	-----------

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях.

Князь Александр Щербацкий

Князь хмурился, покашливая, слушая доктора. Он, как поживший, не глупый и не больной человек, не верил в медицину и в душе злился на всю эту комедию, тем более что едва ли не он один вполне понимал причину болезни Кити. «То-то пустобрех», — думал он, применяя в мыслях это название из охотничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери.

Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его к ней делала его проницательным.

Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекрасным и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за границей походить на европейскую даму, чем она не была, — потому что она была русская барыня, — и

потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности. <...> Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидел Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем и особенно усилились карлсбадскими водами.

— Говорят, она десять лет не встает. — Не встает, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена. — Папа, не может быть! — горячо возразила Кити. — Варенька обожает ее. И потом она делает столько добра! У кого хочешь спроси! Ее и Aline Шталь все знают.

— Может быть, — сказал он, пожимая локтем ее руку. — Но лучше, когда делают так, что у кого ни спроси, никто не знает. Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить; но они и отцу не хотели открыть свои тайные мысли. Однако, странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит потому, что дурно сложена, и мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь.

Княгиня Щербацкая

Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити и ее будущности и к спорам между князем и княгиней. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственной женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и музиками; но не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.

Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидел невесту, и его увидели; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся обыкновенным, дело — выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшей, переживались те же страхи, те же сомнения и еще большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоприятно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований.

Доктор между тем с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом спускался до низменности его понимания. Он понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом доме — мать. Пред нею-то он намеревался рассыпать свой бисер. В это время княгиня вошла в гостиную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватою пред Кити.

Княжна Екатерина (Кити) Александровна Щербацкая

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня.

По свойству своего характера Кити всегда в людях предполагала все самое прекрасное, и в особенности в тех, кого она не знала. И теперь, делая догадки о том, кто — кто, какие между ними отношения и какие они люди, Кити воображала себе самые удивительные и прекрасные характеры и находила подтверждение в своих наблюдениях.

Кити чувствовала, что в ней, в ее складе жизни, она найдет образец того, чего теперь мучительно искала: интересов жизни, достоинства жизни — вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорною выставкой товара, ожидающего покупателей.

Ей открылось то, что, кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющею ничего общего с тою, которую с детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всенощной во Вдовьем Доме, где можно было встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов; это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которую не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить.

— Все притворство! — говорила она, открывая и закрывая зонтик. — Да с какою же целью? — Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть. Нет, теперь уж я не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей! <...> Да, да, я знаю, что вы всё совершенство; но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я буду какая есть, но не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны! Пускай они живут как хотят, и я как хочу. Я не могу быть другою... И все это не то, не то!..

С приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми. <...> Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна и московские горести ее стали воспоминанием.

Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом.

Она должна была быть любима, и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать <...>. Еще бывши женихом, он был поражен тою определенностью, с которою она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню, как будто она знала что-то такое, что нужно, и, кроме своей любви, могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда, и теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими.

Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и гадливости, которое она произвела в ее мужа, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила ее мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание.

Она знала, что мучало ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что, если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она бы должна была согласиться, что он будет погублен, — его неверие не делало ее несчастна; и она, признававшая то, что для неверующего не может быть спасения, и любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной. <...> «Ну, неверующий! Лучше пускай он

будет всегда такой, чем как мадам Шталь или какою я хотела быть тогда за границей. Нет, он уже не станет притворяться».

«Какой же он неверующий? С его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка! Все для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости — быть его приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить». «Да, только будь таким, как твой отец, только таким», — проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щеке

Васенька Весловский, троюродный брат Щербацких

Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность элгантности. Как будто он считал за собой высокое несомненное значение за то, что у него были длинные ногти, и шапочка, и остальное соответствующее; но это можно было извинить за его добродушие и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на французском и английском языках и тем, что он был человек его мира.

— Этак нельзя жить, это мученье! Я страдаю, ты страдаешь. За что? — сказала она, когда они добрались наконец до уединенной лавочки в углу липовой аллеи. — Но ты одно скажи мне: было в его тоне неприличное, нечистое, унижительно-ужасное? — говорил он, становясь пред ней опять в ту же позу, с кулаками пред грудью, как он тогда ночью стоял пред ней. — Было, — сказала она дрожащим голосом. — Но, Костя, ты веришь, что я не виновата? Я с утра хотела такой тон взять, но эти люди... Зачем он приехал? Как мы счастливы были!

Дарья Александровна видела, что Анна недовольна была тем тоном игривости, который был между нею и Весловским, но сама невольно впадала в него. Вронский поступал в этом случае совсем не так, как Левин. Он, очевидно, не приписывал болтовне Весловского никакой важности и, напротив, поощрял эти шутки. <...> Во время же игры Дарье Александровне было невесело. Ей не нравилось продолжавшееся при этом игривое отношение между Васенькой Весловским и Анной

Семья	Левины
-------	--------

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях.

Николай Левин

Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший большую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.

Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек; но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. <...> Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; и потом как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. (Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иванович.) Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем Ивановичем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения; и последнее дело, когда он уехал служить в Западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине... Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца. Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все, и он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом; а когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим.

— Что, Кати нет? — прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. — Нет, так можно сказать... Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя обманывать себя. Вот этому я верю, — сказал он и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать

над ней.

В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастье. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим наслаждение; но теперь лишение и страдание не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новое страдание. И потому все желания сливались в одно — желание избавиться от всех страданий и их источника, тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены.

Князь Константин Дмитрич Левин

Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева. <...>

— Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разобрался и не езжу больше на собрания, — сказал он, обращаясь к Облонскому.

Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити.

Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная его сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери.

В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже — который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель — директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрельбей дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Материнское имение их было неделимое, и Левин заведовал обеими частями.

Дом был большой, старинный, и Левин хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать. Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье.

Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово, но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. <...> Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности. <...> Тут ты безо всякой причины подарил этому плуту тридцать тысяч. — Так что же? считать каждое дерево? — Непременно считать. А вот ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет!

Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (дарованье и ум — это другое дело), и которые никогда ни пред кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты получишь аренду и не знаю еще что, а я не получу и потому дорожу родовым и трудовым... Мы аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный.

Для Константина народ был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все уважение и

какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищение от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так же, как вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые.

Она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в деревне. В городе же он постоянно казался беспокоен и настороже, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не обидел его и, главное, ее. Там, в деревне, он очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал не занят. Здесь, в городе, он постоянно торопился, как бы не пропустить чего-то, и делать ему было нечего. И ей было жалко его. Для других, она знала, он не представлялся жалким; напротив, когда Кити в обществе смотрела на него, как иногда смотрят на любимого человека, стараясь видеть его как будто чужого, чтоб определить себе то впечатление, которое он производит на других, она видела, со страхом даже для своей ревности, что он не только не жалок, но очень привлекателен своею порядочностью, несколько старомодною, застенчивою вежливостью с женщинами, своею сильною фигурой и особенным, как ей казалось, выразительным лицом. Но она видела его не извне, а изнутри: она видела, что он здесь не настоящий; иначе она не могла определить себе его состояние.

С той минуты, как при виде любимого умирающего брата Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно для него, в период от двадцати до тридцати четырех лет, заменили его детские и юношеские верования, — он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей; но для жизни они ничего не давали, и Левин вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду и который в первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он все равно что голый и что он неминуемо должен мучительно погибнуть.

Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право, на основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами выражают волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве. Он не мог согласиться с этим, потому что и не видел выражения этих мыслей в народе, в среде которого он жил, и не находил этих мыслей в себе (а он не мог себя ничем другим считать, как одним из людей, составляющих русский народ), а главное потому, что он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чем состоит общее благо, но твердо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, и потому не мог желать войны и проповедовать для каких бы то ни было общих целей.

«Так же будет стена между святой святыней моей души и другими ... но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»

Сергей Иванович Кознышев, брат Константина и Николая по матери

Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в доказательство, что знал этот народ. <...> Точно так же, как любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противопо-

ложность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противоположения. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения.

Константин Левин смотрел на брата, как на человека огромного ума и образования, благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, которой он чувствовал себя совершенно лишенным, может быть, и не есть качество, а, напротив, недостаток чего-то — не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, того, что называют сердцем, того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. В этом предположении утвердило Левина еще и то замечание, что брат его несколько не больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины.

«Отчего же и нет? — думал он. — Если б это была вспышка или страсть, если б я испытывал только это влечение — это взаимное влечение (я могу сказать взаимное), но чувствовал бы, что оно идет вразрез со всем складом моей жизни, если б я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю своему призванию и долгу... но этого нет. Одно, что я могу сказать против, это то, что потеряв Marie, я говорил себе, что останусь верен ее памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства... Это важно», — говорил себе Сергей Иванович, чувствуя вместе с тем, что это соображение для него лично не могло иметь никакой важности, а разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль. «Но, кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, что бы сказать против моего чувства. Если бы я выбирал одним разумом, я ничего не мог бы найти лучше».

Схема «Фабула»

Схема «Фабула» служит для наглядного изображения последовательности и взаимосвязи событий, изложенных в романе, представления «линий судьбы» людей, принадлежащих к одной из фамилий, а также демонстрирует, как соприкасаются миры людей, принадлежащих разным семьям. История жизни героев на схеме буквально воплощается «линией жизни семьи» (судьба Алексея Каренина после смерти Анны становится известна читателю из рассказа графини Вронской, но сам он не принимает участия в сцене на вокзале в восьмой части, поэтому там употреблён пунктир).

Событие, происходящее в какой-либо из семей, изображается на схеме непосредственно под указанием на эту семью и становится очевидно, когда событие затрагивает несколько семей. На начало романа Дарья Александровна Щербацкая принадлежит к семье Облонских, Анна Аркадьевна Облонская – к семье Карениных. Кити Щербацкая в пятой части романа выходит замуж за Константина Левина и, соответственно, переходит в семью Левина. Эти уточнения вкупе с серьёзностью вопроса о фамилии маленькой Анны, дочери Вронского, который остро встаёт перед героями в шестой части романа, подталкивают читателя к мысли, что принадлежность семье – не пустой звук. Такой подход должен помочь взглянуть на «мысль семейную» с новой стороны, а схема – разобраться в «лабиринте» композиции и образов.

1. Андреева В. Г. Левин и Вронский в художественном мире романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова, №2, 2011
2. Бабаев Э. Г. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. – М., 1978
3. Толстой Л. Н. Анна Каренина: Роман в восьми частях / АН СССР; Изд. подгот. В. А. Жданов и Э. Е. Зайденшпур. — М.: Наука, 1970
4. Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. – М., 1978.
5. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. – Ч. 3. – М., 1974

Крылова А.А.

**О поэтике современной драматургии на примере пьесы
Дмитрия Данилова «Человек из Подольска»**

*Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского
(Россия, Калуга)*

doi: 10.18411/sr-10-06-2019-85

idsp: sciencerussia-10-06-2019-85

Аннотация

В статье проанализированы художественные особенности популярной на сегодняшний день пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», на основе чего выявлены и рассмотрены основные принципы современной драматургии.

Ключевые слова: современная драматургия, поэтика, Дмитрий Данилов, пьеса, абсурд.